

Письмо къ И—ой.

14 августа 1872 года.

Вашъ «обвинительный актъ» нисколько не огорчилъ и не оскорбилъ меня. И до этого мнѣ часто приходилось слышать тѣ же самыя обвиненія—ими неразъ язвили люди мое и безъ того больное сердце,—язвили потому, что я люблю людей и не могу оставаться равнодушной къ ихъ злобѣ и недоброжелательству. Наконецъ, я нѣсколько освоилась съ этимъ, чувствительность притупилась, и я стала почти равнодушно и часто молча выслушивать эти обвиненія.

Но молчать передъ вами я не могу. Молчать въ смыслѣ не оправдываться мы можемъ только передъ людьми, расположениемъ которыхъ не дорожимъ,—передъ людьми, которые часто сами не вѣрятъ въ то, о чёмъ говорятъ, и говорить для того только, чтобы язвить человѣка. Кромѣ того, въ ваши юные годы вы не могли еще достигнуть той самостоятельности, которая въ состояніи спасти васъ отъ колебаний и сомнѣній; общественное мнѣніе имѣетъ еще въ глазахъ вашихъ огромное значеніе; вотъ почему я не могу оставить письмо ваше безъ отвѣта и постараюсь побесѣдать съ вами со всею искренностью честнаго человѣка.

Пунктъ 1. Общественное мнѣніе обвиняетъ меня въ самолюбіи.

Обвиненіе утверждаетъ, что я вышла изъ Общества Грамотности потому, что меня оскорбили. Это совершенно вѣрно, и этого совершенно достаточно для порядочнаго человѣка, чтобы удалиться. Зачѣмъ же, находя очевидную причину, оно дѣлаетъ натяжки, говоря: «чтобы трудиться отдельно и быть замѣтною». Но почему же въ такомъ случаѣ я не могла начать этимъ, а не кончить? Неужели для

ТОГО ТОЛЬКО, ЧТОБЫ НАТКНУТЬСЯ НА ОСКОРБЛЕНИЕ?! Но такъ или иначе, фактъ совершился—я получила оскорблениe и выплыла... Что же мнѣ оставалось дѣлать? Неужели опустить руки и бездѣйствовать?!

Доказательствомъ тому, что я до оскорбления не предполагала работать отдѣльно, служитъ то, что за нѣсколько дней до выхода изъ воскресной школы Общества Грамотности я входила въ нее, спокойная и счастливая, съ кипою книгъ, привезенныхыхъ мною изъ Петербурга.

Это ли не доказательство!?

Пунктъ 2. Увлечение учительницами.

Да! я увлекаюсь нашими учительницами, я люблю, я уважаю ихъ, но... возможно ли иначе?!. Возможно ли не уважать труженицу Чирикову, посвящающую добромъ дѣлу свой единственный свободный день?! Возможно ли не благоговѣть передъ самоотверженiemъ Томашевской?! Возможно ли не увлекаться юнымъ задоромъ Ивановой, съ которымъ она относится къ дѣлу?! Но развѣ это не факты, передъ которыми способенъ благоговѣть каждый человѣкъ, не только заинтересованный лично въ дѣлѣ, какъ я, а ознакомившися съ ними по слухамъ, какъ положимъ Миропольскій—онъ не участникъ въ нашемъ дѣлѣ, но онъ любить школу вообще, и эта любовь вызываетъ симпатію и сочувствие...

Но развѣ это не факты, способные создать увлечениe, и не въ такомъ даже увлекающемся субъектѣ, какъ я?! И неужели любовь къ учительницамъ можно смѣшать съ себялюбіемъ, какъ смѣшиваете вы...

Пунктъ 3. Небрежность къ своимъ дѣтямъ.

Мнѣ кажется, результатъ ни въ чёмъ не является такимъ многозначащимъ доказательствомъ, какъ въ дѣлѣ воспитанія. И что же вы видите въ результатахъ?! Вы видите здоровыхъ, краснощекихъ, веселыхъ дѣтей, съ полною откровенностью и любовью относящихся къ своей выкорьмившей ихъ «мамкѣ», вы видите дѣтей, въ которыхъ развита правдивость, подѣльчивость, взаимная любовь и дружба... Это ли не краснорѣчивый результатъ, вопіющий противъ взводимыхъ на меня обвиненій?! Посмотрите вы

на ту страстную охоту, съ которой Митя принимается за ученье, съ какимъ интересомъ спрашиваетъ онъ каждый день: «не середа ли нынче, или суббота?» (дни, въ которые я занимаюсь съ нимъ). Вчера онъ говоритъ мнѣ: «Мама! когда я буду именинникъ, не дари мнѣ игрушекъ, а лучше учите меня цѣлый день!» Этого не скажетъ заброшенный ребёнокъ забросившей его матери!.. Когда я плачу, я должна прятаться, потому что моя трехлѣтняя Галя плачетъ со мною. Когда у меня сильно болѣло сердце, Митю ничѣмъ не могли успокоить съ вечера—онъ горько плакалъ и говорилъ: «Я вижу маму въ гробу... Она умреть... Мнѣ жаль ее»... Галя, какъ святыню, сохраняетъ мои письма къ ней изъ Петербурга...

А если я чувствую потребность удѣлить нѣсколько часовъ въ недѣлю чужимъ дѣтямъ, незнающимъ родительской ласки, если я люблю, если я учу этихъ дѣтей,—нужели это преступленіе?! Неужели когда-нибудь мои дѣти поставятъ мнѣ это въ упрекъ?! Нѣть! Никогда!..

При мысли о смерти и о дѣтяхъ мнѣ становится необыкновенно отрадно отъ сознанія, что я завѣщаю имъ хорошую память о себѣ, что опоэтизованный временемъ образъ мой явится передъ ними свѣтлымъ образомъ матери—не эгоистки,—матери, въ сердцѣ которой нашелся уголокъ для любви къ бѣднымъ, заброшеннымъ дѣтямъ. Я вѣрю даже, что это воспоминаніе разовьетъ въ нихъ симпатію къ той же дѣятельности, и такимъ образомъ, стремленія мои не умрутъ съ моимъ тѣломъ.

Нѣть, Саша, не вѣрьте, что я не люблю дѣтей!.. Подумайте, похоже ли это на меня, увлекающуюся, нервную и любящую?!

Пунктъ 4. Поклоненіе авторитетамъ.

Это пунктъ, въ которомъ я всегда сама обвиняю себя... Но такъ ли это?! Происходить ли это отъ тупой вѣры въ громкія имена, отъ ограниченности взглядовъ, отъ неспособности къ анализу и т. д.?!. Нѣть! это все тотъ же продуктъ увлекающихся натуръ (къ числу которыхъ, къ несчастію, принадлежу и я), это все та же пища горячихъ темпераментовъ... Они не могутъ не увлекаться, не покло-

пяться, не волноваться—это ихъ жизнъ!.. Не потому поклоняются они авторитету, что онъ авторитетъ, нѣтъ... они ищутъ въ жизни живыхъ идеаловъ своего живого воображенія, способны опоэтизировать каждого выдвинувшагося изъ толпы человѣка, способны возвести его на пьедесталъ и потомъ съ той же горячностью свергнуть его, чтобы поклониться новому...

Я сказала все, что хотѣла сказать... Теперь можете произнести надо мною приговоръ, какой хотите.

X. A.

Раненые въ Харьковъ.

(Изъ дневника во время Турецкой войны).

21 октября 1877 г.

Мы возвратились съ дачи 1 сентября. Еще тамъ я мечтала о помощи раненымъ. Вопросъ, гдѣ я пристроюсь, съ кѣмъ и какъ, очень занималъ меня. Съ первыхъ дней по приѣздѣ я побывала во всѣхъ больницахъ и пристроилась въ торжественномъ залѣ университета. Вопросъ, не была ли бы я полезнѣе въ другой больницѣ, не тревожить меня—я отдаю все, что могу—и душу, и время, и деньги въ томъ размѣрѣ, въ какомъ только я въ силахъ дать, а отдаю ли я ихъ здѣсь или въ другой и третьей больницѣ, не все ли равно?!

Но вотъ что странно: какъ ни были сильны впечатлѣнія первыхъ дней, я не занесла ихъ въ дневникъ. Почему? Именно потому, вѣроятно, что они были слишкомъ сильны. Я закружилась, засуетилась, заметалась до невозможности даже отдать себѣ отчетъ. На дачѣ являлись вопросы и вопросы, а здѣсь жизнь предъявляла живые, несомнѣнныя отвѣты. Такъ, напр., на дачѣ былъ такой вопросъ, гдѣ я нужнѣе: у интеллигентнаго больного или у солдата? Я думала такъ: къ солдатамъ пойдутъ многіе, если не всѣ—тамъ больше воплющихъ страданій, тамъ нужда, горе и лишенія громче кричать; я и сама больше люблю народъ, меня больше тянуть къ нему, чѣмъ къ „паничамъ“. Но такъ ли это? Не жальче ли цивилизованный искалѣченный человѣкъ? Не глубже ли чувствуетъ онъ своеувѣчье? Не болѣе ли одинокъ онъ вдали отъ изнѣжившей его семьи? И кто можетъ откликнуться на всѣ эти сердечные стоны,

кто можетъ участиемъ напомнить семью, у кого найдется искреннее слово утѣшения, кто способенъ къ задушевной бесѣдѣ, къ обмѣну мыслей и т. п. Не долженъ ли онъ итти туда, къ этому менѣе эффектному и болѣе глубокому нравственному страданію? И я была и тамъ и тамъ, и что же отвѣтила мнѣ жизнь? У офицерской больницы стояли коляски и кареты; просторныя комнаты вмѣщали по 2, по 3 человѣка; на столахъ стояли торты и пирожныя; больные лежали въ роскошныхъ халатахъ, и когда я вошла съ моей корзинкой варенья, меня встрѣтили такие высокомѣрные взгляды, что я готова была провалиться сквозь землю. Съ тѣхъ поръ я не входила болѣе въ офицерскую больницу, а что я видѣла у солдатъ, покажутъ послѣдующія замѣтки моего дневника.

Въ заключеніе скажу одно, что, если существуетъ теплота сердечная, честность, поэзія, задушевность, искренность, чистосердечіе, то это именно среди простого народа. Если вѣрить въ будущность Россіи, то только полагая всѣ надежды на этотъ отважный, великодушный, самоотверженный народъ. Если ждать Мессіи, который спасетъ насть, то только изъ него.

Таковы мои впечатлѣнія.

Существуетъ мнѣніе между близкими мнѣ людьми, будто у меня слабые нервы, но мнѣ не хочется этому вѣрить. Мнѣ казалось всегда, что болѣзнь моя—впечатлительность, а не нервность. Я легко плачу отъ воображаемаго горя надъ романомъ и остаюсь совершенно спокойна при внезапномъ стукѣ, крикѣ, при всемъ томъ, чего не выносятъ люди съ слабыми нервами. Но если уже необходимо назвать меня нервною, то никогда, кажется, нервы мои не были такъ натянуты, какъ въ эти послѣдніе дни. Четверо больныхъ дѣтей—это что-то ужасное—тутъ все: и страхъ за ихъ жизнь, и страданіе за ихъ страданія, и раздражительность за капризы и непослушаніе, и упреки себѣ, горькие упреки потомъ за эту непозволительную, негуманную раздражительность. Однимъ словомъ, все осложняющее и безъ того тяжелое, реальное горе.

Благодаря этимъ болѣзнямъ, я двѣ недѣли не была въ больницѣ или, лучше сказать, не позволяла быть. Причинная теорія была такова: нельзя же бросить этихъ маленькихъ страдальцевъ, взывающихъ безпрестанно: „мама! мама!“ и ити къ чужимъ неизвѣстнымъ людямъ. Но тянуло ли меня туда? Это вопросъ, на который я должна сказать, отвѣчая искренно,—тянуло.

Мнѣ думалось: «этотъ Барбулись, ожидающій меня писать отвѣтное письмо, этотъ казакъ съ $41\frac{3}{4}$ ° температуры, ожидающій, быть-можеть, передъ смертью, нѣтъ ли вѣстей отъ любимой беременной жены, этотъ дизентерикъ Галаганъ, тоже ведущій черезъ меня перениску, изсохшее лицо кото-раго начинаетъ обыкновенно проясняться улыбкой при видѣ меня,—всѣ они, ей Богу, несчастнѣе моихъ больныхъ дѣтей—здѣсь и отецъ, и няня, и тепло, и уютно, а тамъ? И вотъ, однако, несмотря на этотъ сердечный протестъ, я выдергала себя двѣ недѣли подлѣ дѣтей и сегодня въ первый разъ по возобновленіи собиралась на дежурство. Я была благоразумна: не поѣду, говорила я себѣ, рано, какъ обыкновено въ 9 часовъ къ перевязкѣ; надо уснуть хорошошенько, привести себя въ порядокъ, вонъ уже сколько ночей я не спала. Поѣду, какъѣздятъ всѣ дежурные дамы, къ 12, къ обѣду. Но ночь я не спала попрежнему, подъ утро уснула тяжело, тревожно. Однако, характеръ выдергала и поѣхала ровно въ 12 часовъ.

Перевязка окончилаась. Сестра милосердія вытирала хирургические инструменты.

— Были операций?—спросила я.

— Да! Вонъ тому отрѣзали два пальца на ногѣ!—И она указала мнѣ на кровать незнакомаго мнѣ больного, прибывшаго въ больницу безъ меня.

Я подошла ближе. Больной метался и стоналъ; у кровати краснѣлась лужица крови. Я приподняла одѣяло. Несмотря на два пузыря со льдомъ, кровь такъ и просачивалась черезъ тряпку, простыня вся уже была въ крови. Я взглянула на сестру милосердія—она была блѣдна, какъ полотно.

— Почему ординаторъ ушелъ такъ скоро послѣ операций?—спросила я.

— Почему?—сказала она, махнувши отчаянно рукою.—Вы видѣли, кого намъ назначили въ ординаторы?! Онъ самъ боится дотронуться до раны, хуже насть!

Тутъ я въ самомъ дѣлѣ вспомнила, что при входѣ была непріятно поражена нѣсколько знакомой мнѣ смазливой фигуркой доктора Г., напечатавшаго недавно съ горя объявление, что онъ принимаетъ у себя «секретныхъ» больныхъ, такъ какъ «несекретные», говорять, къ нему не идутъ.

— Что жъ намъ дѣлать?—повторяли мы, растерявшись и видя, что человѣкъ исходить кровью: послать за Г.—все равно что ничего; за З., но его навѣрное не застанутъ—онъ теперь въ баракахъ.

— Бѣгите въ клинику за прежнимъ нашимъ ординаторомъ К.!—сказала я сестрѣ.

— Не пойдеть! Они во враждѣ; къ тому же мы не имѣемъ права звать чужого ординатора!

— Господи! Какое тутъ право—человѣкъ умираеть—вотъ вамъ и право!

И она побѣжала.

Лицо и вся фигура сестры были слишкомъ выразительны, чтобы отказаться притти, и К. пришелъ, хотя первымъ словомъ его было: «Ну, посмотрите, какъ вамъ достанется отъ Г., что вы меня позвали».

Онъ смѣло стащилъ пинцетомъ корпій, несмотря на раздирающіе стоны больного, и явственно указалъ намъ на тотъ ручеекъ, изъ котораго, напоминая крымскіе фонтаны, лилась кровь; но когда онъ снова сталъ запихивать какъ можно глубже корпій въ это разрѣзанное, свѣжее человѣческое мясо, крики больного дошли до неистовства, и его едва могли удержать въ постели пять человѣкъ.

Я чувствовала, что я вся похолодѣла, и прижалась къ колоннѣ на случай обморока. Въ глазахъ у меня, среди крови, то мелькалъ и искрился на пальца доктора брильянтъ, взятый имъ, вѣроятно, въ приданое за богатой дочерью купца, на которой онъ недавно женился, то одно слово явственно написанное на дощечкѣ у постели больного: «магометанинъ». И брильянтъ и это слово какъ-то болѣзненно давили мнѣ сердце, особенно слово. Мысль, что

онъ раненъ своимъ—магометаниномъ, какъ-то особенно давила меня, точно больному было бы легче, если бы его ранили православный!

К. работалъ совершенно спокойно, это было видно и по его здоровому, чуть ли не улыбающемуся лицу, и по крѣпкимъ ниразу не дрогнувшимъ рукамъ; странное дѣло, все это цѣнится въ хирургѣ, и въ то же время дико и жутко видѣть человѣка, спокойно засовывающаго руку въ рану такого же человѣка, въ то время, какъ тотъ испускаетъ неистовые крики, раздирающіе душу.

К. окончилъ работу и отправился мыть руки. Я пошла вслѣдъ за нимъ и жаловалась на небрежность нашего ординатора.

— Помилуйте,—отвѣчалъ К. спокойно,—онъ не виноватъ, человѣку не дали никакого комфорта—нѣть отдѣльной комнаты!

К. показался мнѣ очень гадокъ въ эту минуту съ его брильянтомъ на пальцѣ.

Желая заглушить въ себѣ сколько-нибудь это тяжелое впечатлѣніе, я подопла къ своему любимцу Галагану съ письмомъ отъ его родныхъ на мое имя со вложеніемъ одного рубля. Онъ прослушалъ письмо съ довольнымъ видомъ; слезъ, какъ при полученіи первого письма, на этотъ разъ не было, и я принялась писать отвѣтъ.

«Дорогіе мои родители,—диктовала мнѣ Галаганъ,—если вы сами нуждаетесь въ деньгахъ, не высыпайте мнѣ, Бога ради, ничего—какъ-нибудь обойдусь, а если можете выслать, не обижая себя самихъ, то вышлите. У меня нѣть теплыхъ штановъ и одинъ только сапогъ; когда ранили, то все осталось тамъ.—Сапогъ парный можно заказать, если не отнимутъ ноги, а штаны, какъ самимъ вамъ извѣстно, стоятъ очень дорого».

Не успѣла я окончить письмо, какъ меня позвали разливать супъ.

Продолженіе того же утра.

Разносили обѣдъ. Вошла сестра милосердія и, называя по фамиліи больного, сказала: «Отецъ твой пришелъ!» Боль-

ной заметался, засуетился и, съ крикомъ коснувшись постели больными пальцами ноги, закричалъ: «Костили, костили, Христа ради!» ¹⁾.

Его старались успокоить. Въ это время въ дверяхъ показался маленький, сгорбленный стариочекъ—мужичекъ, въ старенькой-престаренькой свитѣ. Маленькие слезливые глазки искали родного лица. Завидя сына, онъ бросился къ нему. Огромный парень-сынъ вскинуль на него руки и такъ громко, такъ порывисто зарыдалъ, что сердце дрогнуло вчужѣ. Не знаю, плакалъ ли стариочекъ—его слезливые глазки продолжали слезиться, а, можетъ-быть, онъ и вошель плача—трудно было это разобрать на этомъ собранномъ въ кулачекъ, морщиристомъ личикѣ, но когда сынъ выпустилъ его изъ своихъ объятій, и они сѣли рядомъ на скамеечкѣ, отецъ впился въ него своими глазками такъ, что, казалось, никакія силы не могли бы его оторвать. Погодя немного, онъ засуетился: «Господи! и забыль сумочку! Гдѣ жъ моя сумочка? Тамъ гостинцы!»—«Сидите! сидите!—сказалъ сынъ, удерживая его,—послѣ!»—Сестра милосердія бросилась въ сѣни и принесла дырявый мѣшечекъ,—такой же дырявый, заплатанный и испачканный, какъ и вся убогая одежда старишка. Сынъ поднялъ мѣшечекъ съ полу и сказалъ голосомъ, полнымъ участія и страданія:—«И это вы тащили 150 верстъ пѣшкомъ!»

Стариочекъ съ лукавою улыбкою развязалъ мѣшечекъ и вытащилъ изъ него огромную паляницу, арбузъ и вязку бубликовъ.

«Это тебѣ мать спекла,—сказалъ онъ, подавая паляницу.—Сама хотѣла итти — вотъ какъ! Да не взяль! Куды ей дойти полтораста верстъ — пристанеть и меня свяжетъ. Я-то и самъ какъ доплелся,—Богъ его знаетъ, — сколько разъ падалъ, темно — думалъ, не подымусь! Сколько дождь мочиль! Ну, слава Богу, дошелъ и бу-

1) Онъ раненъ въ голову, но послѣдствіемъ этой раны было развитіе гангрены на пальцахъ ноги; все они посинѣли, а одинъ отвалился самъ собою.

блички цѣлыми донесь! У варь тутъ, въ городѣ, ей Богу, нѣть такихъ вкусныхъ!»

Сынъ взялъ хлѣбъ въ руки, перекрестился и поцѣловалъ его. И, Боже мой, сколько трагизма было въ этомъ обрядѣ—этотъ хлѣбъ-кормилецъ, испеченный матерью умирающаго сына и принесенный старикомъ-отцомъ пѣшкомъ за полтораста верстъ, какъ не перекреститься предъ нимъ, какъ предъ иконой, и не поцѣловать его!

Потомъ отецъ просилъ сына показать рану, и въ его сло-вахъ: «Боже милосердный! Боже милосердный!» слышалось все—и страданье, и надежда, и мольба... Мнѣ такъ было жаль этого бѣднаго старика, такъ болѣно отъ этой безъисходной нужды, что невыразимо хотѣлось хоть чѣмъ-нибудь помочь ему, и я очень обрадовалась, вспомнивъ, что у меня въ комодѣ уцѣлѣла еще восьмушка чаю и фунтъ сахара отъ раздачи уходившимъ больнымъ.

— На-те вамъ на дорогу,—сказала я,—погрѣетесь, какъ-позябнете. У насъ это всѣмъ даютъ на дорогу,—прибавила я, видя, что онъ почему-то колеблется взять.

— Сударыня, лучше вы не давайте ихъ мнѣ,—сказалъ ста-рикъ заискивающимъ тономъ,—только позвольте, ради Бога, сѣсть ему кусочекъ арбуза, а то, говоритъ, не позволяютъ. Будьте такія добрыя—позвольте!

Я подозвала сестру милосердія, и, посовѣщавшись, мы разрѣшили сыну сѣсть кусочекъ.

Вечеромъ я опять была въ больницѣ и опять желаніе помочь чѣмъ-нибудь бѣднягѣ преслѣдовало меня. Мы привыкли къ палліативамъ, къ подачкамъ, и я дала ему 3 рубля—что жъ! можетъ-быть, для него это сила денегъ въ данную минуту! Вѣдь это должно хоть сколько-нибудь удовлетво-рять нравственное чувство, хоть сколько-нибудь заспокай-вать! Отчего же болѣть во мнѣ эта рана состраданія? Отчего не дѣйствуютъ на нее нималѣйше эти палліативныя мѣры? Отчего? Оттого, что изъ-за этого мужичка, грезится мнѣ, смотрѣть тысячи, миллионы такихъ же слезливыхъ глазъ такихъ же оборванныхъ свитокъ, такихъ же убогихъ мѣ-шечковъ съ палляницами, и не помочь имъ моимъ жалкимъ тремъ рублямъ и моей восьмушкѣ чаю.

22 октября 1877 г.

Еще одно изъ свѣжихъ воспоминаній.

Съ мѣсяцъ назадъ я была дежурной въ торжественномъ залѣ.

— Привезли больного,—сказалъ вбѣжавшій санитаръ,—да такого великана, что вдвоемъ не подымешь — надо человѣка три!

Черезъ нѣсколько минутъ въ залу внесли дѣйствительно великана. Я никогда не видала такого огромнаго, такого плечистаго человѣка. Мы всѣ окружили его и стали бережно спосабствовать уложить эту машину на кровать.

Не успѣли мы еще устроить его какъ слѣдуетъ, еще его громадная нога въ гипсѣ нѣсколько свѣшивалась съ постели, а сидѣлка суетилась въ невозможности подыскать бѣлье на его громадный ростъ, какъ онъ крикнулъ густымъ и звучнымъ басомъ:

— Сестрицы! Кто бы мнѣ написалъ поскорѣе письмцео моей хозяюшкѣ-женѣ!?

Я принесла свою походную канцелярію (какъ прозвали солдаты мой столикъ съ письменной шкатулкой) и стала писать.

Онъ диктовалъ и о томъ, что отнялъ знамя, и о томъ, гдѣ и какъ былъ раненъ и какъ получилъ три ордена и карточку великаго князя Николая Николаевича. Изъ словъ его я узнала, что онъ уральскій казакъ.

— Что жъ, по охотѣ пошли на войну? — спросила я, глядя на его красивое, суровое мужественное лицо и черные, какъ смоль, мстительные глаза.

— Какое! — отвѣчалъ онъ. — Силою оторвали отъ хозяйства — годъ какъ женатъ — жену оставилъ беременною. Она у меня красавица, умница, грамотная — увидите, какъ напишетъ!

Ничто такъ не сближаетъ съ человѣкомъ, совсѣмъ чужимъ и незнакомымъ тебѣ, какъ его горе и искренній разсказъ обѣ этомъ горѣ, особенно письменная передача этого рассказа его близкимъ роднымъ. Въ эти минуты какъ-то сродняешься съ человѣкомъ. Я испытала это много разъ

въ больницѣ. У меня тамъ такой родни человѣкъ двадцать. Какъ войдешь, такъ и чувствуешь на себѣ эти вопросительные взгляды. А нѣтъ ли, моль, письма? И съ какимъ торжествомъ входишь, когда оно лежитъ въ карманѣ. Тутъ не только несешь радость одному, но и надежду всѣмъ осталымъ: если онъ получилъ черезъ нее отвѣтъ, такъ, стало быть, и я получу. Я придумала слѣдующій способъ отправки писемъ: вкладываю въ посылаемое письмо конвертъ съ маркой, на которомъ написанъ мой адресъ съ передачей такому-то, не говоря уже о томъ, что всѣми силами добиваюсь отъ нихъ самихъ правильнаго адреса, что довольно трудно. Одинъ, напримѣръ, Богусловскій ужъ три года на службѣ и ниразу не получалъ отвѣта (хороши писаки, должно-быть, ему писали!), а черезъ меня получилъ, что все дома благополучно и всѣ живы, а онъ считалъ, что всѣ вымерли, а даже за упокой подавалъ. Представьте же себѣ его радость!

Вотъ такимъ-то духовнымъ родствомъ породнилась я и съ казакомъ, когда на третій или четвертый день онъ сказалъ мнѣ:

— А я опять хочу писать—очень нужно!

— Что жъ именно?—спросила я.—Или что позабыли?

— Да вотъ что—хочу просить хозяинку выслать мнѣ фунтовъ тридцать балыка да фунтовъ десять икры—у насъ тамъ чудесные балыкъ и икра!

— И полноте,—сказала я, не соображая, въ чемъ дѣло,—да вѣдь вамъ не позволять ёсть!

— Да я не для себя!

— И товарищамъ не позволять!

— Да и не для товарищей, а ужъ знаю для кого!—сказалъ онъ, и по его суровому, почти жестокому лицу въ первый разъ скользнула улыбка.

Тутъ я догадалась, въ чемъ дѣло, и мнѣ стало очень совѣстно: брать подарки, гостины отъ нихъ, отъ этихъ раненыхъ, да что жъ это такое?! И я стала отклонять его всѣми мѣрами: я говорила, что все это испортится, пока дойдетъ, а онъ отвѣчалъ, что соленое такъ скоро не портится; я говорила, что пересылка будетъ стоить страшно

дорого, а онъ отвѣчалъ, что это ничего не значитъ, что у нихъ, слава Богу, хозяйство—полная чаша! Я говорила, что въ Харьковѣ у насъ есть хорошие балыкъ и икра, а онъ отвѣчалъ, что это ничего не значитъ, что въ Харьковѣ не можетъ быть такихъ. Въ концѣ-концовъ мнѣ удалось только склонить его, по крайней мѣрѣ, выписать вполовину меныше.

Во время моего двухнедѣльного отсутствія изъ-за болѣзни дѣтей рана казака дѣлала успѣхи и кончилась гангреной. Рѣшили отрѣзать ногу, и такъ какъ подобную операцию невозможно дѣлать на глазахъ у другихъ больныхъ—въ торжественномъ залѣ, то его перевели въ бараки въ отдѣльную комнату при № 1.

Вчера получаю объявленіе съ почты: посылка на 8 руб., сегодня посылку. Надписано: казаку Петру Ходину отъ казачки Евдокіи Ходиной. Оторвавшись отъ дѣтей, лечу съ замираніемъ сердца въ бараки.

— Живъ ли онъ и застанетъ ли его еще эта радость или нѣтъ, а иначе, что я буду дѣлать съ этой фатальной посылкой!

Вхожу въ первый номеръ, къ симпатичной сестрѣ милосердія Г.

— Что казакъ?

— Отняли вчера ногу!

— Температура?

— Пока 39. Они всегда порядочно чувствуютъ себя сгоряча!

— Какъ вы думаете, не встревожить ли его радость? Можно ли отдать посылку?

— Я того мнѣнія, что радость никогда не вредить человѣку!

И мы вмѣстѣ понесли посылку и вмѣстѣ раскупорили.

— Слушайте, сестрица,—сказалъ онъ, обращаясь къ Г.,— прошу васъ раздѣлить пополамъ—половину доктору З., а половину вотъ имъ...—и онъ указалъ на меня.

Опять эта фальшивая, быть-можеть, совѣтливость обуяла меня, но отказаться я не смѣла, глядя въ это торжествующее, вспыхнувшее даже краской радости лицо, и въ эти глаза, говорившіе: «разумѣется, возьмите!»

Мнѣ удалось только опять взять меньше и большую нравственную муку совѣстливости оставить на долю З. Не знаю, какъ онъ поступить,—дай Богъ, чтобы не оскорбиль бѣдняка отказомъ.

Но было тутъ и горе—не оказалось письма. Ужъ какъ ни шарилъ нашъ бѣдолага и подъ балыкомъ, и подъ за-коптившимися бумагами—нигдѣ! Я придумала послать телеграмму, и онъ очень этому обрадовался.

— Что жъ телеграфировать, что отняли ногу?—безтактно спросила я.

— Боже упаси! Испугается до смерти!—и больной замахалъ руками.—Пишите такъ,—продолжалъ онъ,—съ подходомъ, можетъ, догадается: лежу, моль, какъ соколъ съ отрубленнымъ крыломъ, и не быть мнѣ уже тебѣ помощникомъ, какимъ былъ прежде, и не бѣгать мнѣ по хозяйству, какъ бѣгалъ прежде. Пожалуйста, такъ—авось догадается—меньше страху.

Когда мы вышли, Г. сказала мнѣ: «Напрасно вы упомянули о ногѣ—это обстоятельство страшно мучить его, и мы стараемся, насколько это возможно, отвлечь его отъ этой мысли. Ночью онъ все кричитъ: «Покажите мнѣ ногу! Покажите мнѣ мою ногу! Я вижу, на ней пальцы шевелятся!» И если бы вы видѣли, что это за нога! Ей Богу, съ меня ростомъ!—сказала она, подсмѣиваясь надъ своимъ маленьkimъ ростомъ.

23 октября 1877 г.

Сегодня получила письмо отъ жены казака, и такъ какъ была дежурною въ торжественномъ залѣ, то отправила его въ бараки. Говорятъ, нашъ великанъ плакалъ, слушая трогательный разсказъ жены о томъ, какъ она безъ него въ одиночку собирала сѣно и какъ кормила его любимыхъ лошадей.

24 октября 1877 г.

Дѣло сестеръ милосердія у насть новое дѣло, поэтому типъ сестры милосердія, общій типъ еще не создался; тѣмъ не менѣе, вы все-таки можете вывести нѣкоторую характе-

ристику, всматриваясь и наблюдая. Прежде всего бросается въ глаза большинство — это беззаботныя, веселыя, здоровыя молодыя дѣвушки, идущія на эту трудную работу, какъ на праздникъ. Ихъ веселый смѣхъ заглушаетъ подавленные стоны раненыхъ, ихъ лица напоминаютъ раутъ, вмѣсто больницы. Этотъ смѣхъ, это веселье даже какъ-то оскорбляетъ васъ, если только вы человѣкъ впечатлительный, и напрасно вы стараетесь оправдать ихъ годами юности. Вамъ думается: откуда этотъ смѣхъ? зачѣмъ? къ чему? мѣсто ли ему тутъ, среди этихъ страданій?! чему радоваться? или въ самомъ дѣлѣ женщинѣ настолько загорожены въ жизни всѣ пути, что это сознаніе неожиданной возможности быть полезной такъ захватываетъ всего человѣка, что даже является самодовольство и смѣхъ. Я знала изъ этихъ «веселыхъ» одну сестру, которая обыкновенно такъ начинала свой разсказъ: «это было такъ весело! такъ весело — приходить санитарный поѣздъ съ тяжело ранеными» и т. д.

Затѣмъ слѣдуетъ другой типъ — сестеръ-педантовъ, если можно такъ выразиться. Онѣ слышали, учились и занимались столько же, сколько и веселыя сестры, но вообразили себя чуть ни хирургами и жестоко эксплуатируютъ тѣ научные термины, которые стали имъ известны два-три мѣсяца назадъ. Онѣ работаютъ добросовѣстно, но вмѣстѣ съ тѣмъ воображаютъ, что только имъ однимъ доступна эта работа, и на обыкновенныхъ смертныхъ смотрятъ съ самоувѣренностью и высокомѣриемъ невѣжества.

— Позвольте мнѣ складывать марлю впчестеро! — сказала я однажды въ простотѣ души одной изъ такихъ сестеръ, опираясь на пословицу «не святые горшки лѣпятъ», и протянула было уже руку (это было еще до того, какъ я проплушала рядъ лекцій въ клинике Грубе).

— Нѣть! нѣть! — воскликнула она, чуть не съ ужасомъ отстраняя меня. — Боже сохрани — у насъ это дѣлается по правиламъ.

Третій разрядъ «наемницы», распознать ихъ весьма легко. — «Да, — говорила мнѣ какъ-то одна изъ нихъ, въ высшей степени добродушная дѣвушка, — если бы мои родные не разорились, никогда бы я не дошла до этого униженія».

Каково это слышать въ самое горячее время увлеченія миссіей сестры милосердія и жажды подвиговъ!

Другой случай еще характернѣе: слышу — въ одной изъ больницъ нѣть иригаторовъ. Везу. Встрѣчаетъ меня сестра — веселая, грязная, растрепанная, съ чепцомъ на боку. Объясняю цѣль посѣщенія.

— Ахъ, нѣть! — говорить она. — Намъ иригаторовъ совсѣмъ не нужно, а вотъ, если бы вы привезли варенья моимъ тифознымъ!

Ѣду съ иригаторами дальше, а на другой день узнаю завѣрное отъ доктора, что тамъ, въ этой больнице, поливаютъ раны чайниками за отсутствіемъ иригаторовъ.

Четвертый типъ — это «искательницы приключений» всевозможныхъ сословій, начиная съ генеральского и кончая мѣщанскимъ. «Когда насъ поплюютъ за Дунай!» повторяютъ онѣ, какъ попугаи, хоромъ, куря папиросы и ровно ничего не дѣлая въ больнице временнаго мѣстопребыванія, въ которой масса дѣла. Вы услышите отъ нихъ романически неправдоподобныя исторіи о страданіяхъ, которыми устланъ былъ ихъ жизненный путь. Это сестры, положительно компрометирующія святое дѣло каждой интригѣ и интересныхъ приключений, и такъ и кажется, что красный крестъ попалъ на ихъ платье по ошибкѣ...

Пятый... но нѣть, къ чему я буду подводить подъ разряды исключенія. Это тѣ святые, тѣ праведники, которыми держался грѣшный городъ, это тѣ люди, божественный огонь которыхъ дѣйствуетъ электрически на толпу, и не будь ихъ, быть-можетъ, все эти полуграмотныя «хирурги» — все эти развеселыя барышни искали бы жениховъ, играли бы въ нигилизмъ и не работали бы тутъ, слѣпо повинуясь какой-то непонятной силѣ, которая проникла въ ихъ кровь, какъ зараза, тронула ихъ грубые нервы и отозвалась въ ихъ индиферентныхъ душахъ.

Такова моя Г. Вотъ ея повѣсть: женихъ — докторъ по, шелъ на войну. Пошла бы за нимъ и она, да родные стали уговаривать, отецъ сталъ плакать, да и жениху не хотѣлось загубить эту молодую, изнѣженную, нетронутую жизнь. Осталась, а сердце ноетъ, и не по одномъ женихѣ, а по

всѣмъ этимъ несчастнымъ, искалѣченнымъ, раненымъ. Идетъ на помощь имъ. Опять уговоры, слезы, мольбы... но нѣтъ! Это томленіе, эта жажда подвига сильнѣе страсти къ жениху, сильнѣе всего на свѣтѣ.

— Не выдержите! — говорить ей. — Вы изнѣжены, вы нервны!

«Выдержу!» думаетъ она, чувствуя въ душѣ своей такъ много огня, такъ много нравственной силы, какъ никто изъ этихъ равнодушныхъ, тугонервныхъ людей.

И вотъ она работаеть,—работаеть съ жаромъ, съ увлечениемъ, какъ никто. Примѣръ ея увлекаетъ и заражаетъ другихъ, и только опытный взглядъ въ силахъ замѣтить какую-то ненатуральную лихорадочность во всѣхъ ея дѣйствіяхъ. Она не въ силахъ относиться индиферентно къ окружающимъ явленіямъ—она трепещетъ за исходъ каждой операциіи, она плачетъ, видя слезы, она страдаетъ чужими страданіями. Зато и любить же ее всѣ эти «трудящающіеся и обремененные», зато и умѣеть же она утѣшить и успокоить ихъ!

Однажды ночью больной чувствуетъ, что исходить кровью. Зоветъ. Никто не слышитъ—всѣ крѣпко заснули. Днемъ было много, очень много дѣла, всѣ утомились и спать безпробудно. Больной начинаетъ кричать неистово—и боль, и страхъ, и злоба—все слышится въ этомъ крикѣ. Наконецъ, всѣ просыпаются, всѣ вскакиваютъ, всѣ бѣгутъ и видятъ что же: больной мечется и кричитъ на своей койкѣ, но еще болѣе пронзительный и раздирающій душу крикъ слышенъ въ комнатѣ сестры милосердія. Входятъ и видятъ страшный припадокъ истерики—нервы слишкомъ были натянуты и ждали только случая. Къ утру ее отвезли домой, а черезъ недѣлю я опять уже видѣла ее бодрою и энергичною на той же работѣ, только въ движеніяхъ было замѣтно еще болѣе нервности, а взглядъ горѣль еще лихорадочнѣе!

29 октября 1877 г.

Вчера я была дежурною въ торжественномъ залѣ и написала письмо къ брату того раненаго Коваленки, къ кото-

рому приходилъ старичекъ-отецъ, но вышло недоразумѣніе: когда я надписала на письмѣ «Коваленко», больной сказалъ мнѣ: «Ахъ, нѣтъ — онъ мнѣ не братъ — мы только такъ зовемся братьями — служили вмѣстѣ и подружили, ну, теперь онъ мнѣ все равно, что братъ, а фамилія-таки другая». И онъ назвалъ фамилію. Я переписала письмо и отослала на почту.

Захожу сегодня на минуту навѣстить больныхъ и вижу у моего Коваленки сидѣть солдатъ въ ногахъ. Подхожу.

— Вотъ посмотрите, сударыня,—говорить онъ, весь сіяя изъ-подъ своей головной повязки,—мы ему вчера написали, а онъ вотъ онъ самъ — легокъ на поминѣ, пожаловалъ за сколько сотъ верстъ, ну, не братъ ли онъ мнѣ послѣ этого!

Я съ благоговѣніемъ взглянула на этого загорѣлаго солдатика въ потертой шинели и подумала: «Да, врядъ ли цивилизациѣ выработала въ насъ такого рода дружбу!»

2 ноября 1877 г.

Сегодня привезли новыхъ раненыхъ. Обыкновенно у нихъ отбираютъ всѣ ихъ пожитки, въ томъ числѣ и ордена, складываютъ въ узелъ, намѣчаютъ и прячутъ въ отдѣльное помѣщеніе впредь до выздоровленія.

Во время этой процедуры одинъ больной сунулъ что-то проворно подъ подушку. Докторъ-ординаторъ быстро отправился къ нему и потребовалъ показать. Оказался георгіевскій крестъ.

— Вы должны отдать его въ складъ! — сказалъ сухо ordinаторъ.

У больного блеснули на глазахъ слезы. Я вмѣшалась съ просьбой. Безногому калѣкѣ дозволили хранить при себѣ эмблему его храбрости и результаѣтъ его калѣчества.

16 ноября 1877 г.

Отрывокъ изъ солдатскаго письма.

(Послѣ обычныхъ поклоновъ)... «Лежу я теперь въ больнице въ Харьковѣ. Раненъ былъ въ поясницу на вылетѣ въ лѣвый бокъ 19 іюля за Балканами, и везли меня за 100 верстъ

почти голаго — рубашку мою все рвали на перевязываніе ранъ, а имѣль на себѣ одѣжды одинъ мундиръ, остальное осталось все, гдѣ поранили — какъ шинель, какъ сапоги... Полтора мѣсяца не могъ владѣть ногою — лежалъ недвижно на койкѣ. Отъ брата нашего Михайлы, что былъ со мною въ одномъ полку, съ тѣхъ поръ, какъ меня поранили, никакихъ слуховъ не имѣю. Пропишите мнѣ о хозяйственномъ положеніи все подробно — получаетъ ли жена на себя и дѣтей отъ казны, что слѣдуетъ, а тоже о братѣ - ополченцѣ, потребовали его или нѣтъ».

Отрывокъ изъ отвѣтнаго письма.

«Посылаемъ тебѣ гостинецъ 1 рубль серебромъ, на болѣшее не гнѣвайся, потому что денегъ негдѣ взять. На хлѣбъ у насъ неурожай, нечѣмъ обсѣменить поля. Жена твоя отъ казны ничего не получаетъ ни на себя, ни на дѣтей, а если возможно, то похлопочи самъ. Просимъ увѣдомить о полученіи денегъ. Брата-ополченца угнали».

23 ноября 1877 г.

Нѣсколько дней назадъ была я въ больницѣ, и мнѣ сказали, что названный братъ Коваленко выхлопоталъ, чтобы его перевезли въ больницу въ Таганрогъ, такъ какъ тамъ находится жена больного и онъ, нареченный братъ.

Сегодня мнѣ подали письмо изъ Таганрога. Распечатываю — солдатскія каракули. Читаю подпись — Филиппъ Коваленко. Да это онъ — нашъ больной, онъ грамотный и вѣчно, бывало, или читаетъ что-нибудь, или царапаетъ. Въ послѣдніе дни я даже совѣтовала ему уменьшить азартъ къ занятіямъ, глядя на его покрытое красными пятнами лицо. Вѣроятно, раненіе въ голову и безъ того вызываетъ приливы крови. Вотъ его письмо:

«Милостивая государыня!

«Увѣдомляю я васъ, что меня удостоилъ Господь на томъ мѣстѣ быть, на которомъ я утромъ и вечеромъ Богу молился, чтобы Онъ произвелъ меня быть на немъ, и на

которомъ я и прежде при моемъ здоровыѣ получалъ все свое удовольствіе, которое я никогда не думалъ не то видѣть, но и слышать, что какъ встрѣтили меня мои родные и жена, которые такъ много удивили публику своими слезами, что даже товарищи начали говорить: «Ну, это ты теперь попалъ не въ лазаретъ, а въ рай», И посѣтителей у меня по этому случаю теперь каждый день очень много, которые до меня приходять—чужихъ, а родные какъ будто здоровья приносятъ, за что и теперь молюся Богу. Еще чувствительно благодарю я васъ, милостивая государыня, за вашу доброту, которой я еще на своей жизни никогда не могъ встрѣтить, за которую не забудеть васъ Богъ. Затѣмъ прощайте!

Извѣстный вамъ унтеръ-офицеръ

Филиппъ Коваленко».

О Т В Ь ТЪ.

«Получила я сегодня ваше письмо и очень жалѣю объ одномъ, что вы ничего не пишете о состояніи вашего здоровья—что ваши пальцы на ногѣ? и что говорить о нихъ тамошній докторъ. Такъ какъ я знаю, что вы любите писать, то прошу васъ написать мнѣ объ этомъ, для чего и прилагаю конвертъ съ маркой на мое имя. Мнѣ интересно знать также, много ли раненыхъ теперь въ Таганрогѣ и какъ они содержатся. Радуюсь за васъ, что вы теперь между родными—дай Богъ вамъ поправиться имъ на радость. Благодарю васъ за добрую память обо мнѣ—что дѣлать—теперь такое время, что каждый долженъ помочь другому, чѣмъ можетъ, особенно человѣку больному, раненому. Иначе и передъ Богомъ грѣхъ, и передъ людьми стыдъ.

«Желая вамъ возможно скораго выздоровленія, остаюсь готовая къ услугамъ

Дежурная».

23 ноября 1877 г.

29 ноября 1877 г.

Нѣсколько дней я была больна воспаленіемъ горла и сидѣла дома. Въ эти дни, какъ назло, получились два письма къ наиболѣе несчастнымъ въ больницѣ людямъ Галагану и Петру Иванову.

Еще какъ-то прежде въ своемъ дневникѣ я назвала Галагана «любимцемъ», — что же такое «любимецъ» въ больницѣ? — Это не то что любимецъ у матери! — хотѣла сказать я, но, вдумавшись, рѣшила, что это именно то, что на моемъ вѣку мнѣ часто приходилось видѣть матерей, которыхъ любимцами были уроды-дѣти. Отчего это такъ? Оттого, что у многихъ людей преобладающимъ чувствомъ бываетъ состраданіе. Я думаю, что этому чувству весьма легко развиться въ человѣкѣ, легче, чѣмъ другимъ: на свѣтѣ, кругомъ, такъ много несчастій и горя, что является обширная практика для воспитанія этого чувства, и оно воспитывается.

Галаганъ — худой, больной дизентеріей, сильно раненый, некрасивый, очень-очень бѣдный, что мнѣ извѣстно по письмамъ, имѣетъ всѣ права на званіе любимца изъ состраданія, точно такъ же, какъ и другой мой protégé — Петръ Ивановъ. Онъ боленъ глазами — и на одинъ уже ослѣпъ, а другой загноился, и Богъ вѣсть, будетъ ли цѣль.

Таково было положеніе дѣлъ въ мой послѣдній визитъ въ торжественный залъ. Я отправила имъ письма черезъ посланаго и знала, что они будутъ ждать меня для отвѣтovъ.

Сегодня я пошла въ торжественный залъ и не ошиблась: Галаганъ тотчасъ же набросился на меня съ просьбой о письмѣ.

Написавши письмо Галагану, я перешла къ слѣпому Иванову. — «Ахъ, сударыня, — сказалъ онъ, узнавши меня по голосу и немногого раздирая свой загноившійся глазъ, — я уже вижу немножко, вотъ и вѣсь вижу, а ужъ какъ я признателенъ вамъ за письмо, такъ и выразить не могу —

два года не получалъ. Вотъ, думаю, можетъ, жена считаетъ меня убитымъ—за другого замужъ пошла, а тутъ вотъ тебѣ и радость Господь послалъ... Какъ услышалъ, что вы нездоровы, кое-какъ, до церкви доплелся съ костылемъ—помолился! И онъ началъ просить меня писать въ два мѣста: въ дѣйствующую армію на имя прапорщика С., куда, какъ оказалось изъ письма, родные посылали ему 4 рубля и въ Балту, въ лазареть, 2 рубля.

«То-то какъ получу,—мечталъ онъ, раздвигая ротъ широкою улыбкою,—сразу 6 рублей!»

— Не радуйся очень!—замѣтилъ безрукій товарищъ,—теперь они сохранилъ, чѣмъ тогда — мигомъ израсходуешь!

Вообще, радость этихъ людей какая-то до наивности чистосердечная, ребяческая, и мотивы ея такъ жалки, что трудно глядѣть на нее безъ слезъ.

Припоминается мнѣ мое первое посѣщеніе въ больницу: оздоровѣвшаго безрукаго солдата снаряжали въ путь; санитаръ, высыпавши изъ мѣшка его запыленные пожитки—какую-то тряпочку, порванную книженку, сломанный частый гребешокъ, разбитое зеркальце въ мѣдной оправѣ и все въ такомъ родѣ—приводилъ ихъ въ порядокъ; сестра милосердія пришивала пуговицу у старой-престарой шинели съ пробитымъ пулею рукавомъ, а онъ, съ усилиемъ натащивши на себя только что подаренную ярко-розовую, шумящую, новую ситцевую рубашку, весь сіялъ отъ радости, любуясь на нее и приправляя пустой рукавъ подъ ремешокъ такъ, чтобы не было замѣтно увѣчья.

— Ну, теперь дома меня примутъ за купца!—остриль онъ добродушно.

Или дубовые красивые костили!—да это такая радость, какъ иному пара заводскихъ рысаковъ,—и помину нѣть о калѣчествѣ!

Я кончала письмо, когда другая дежурная подошла ко мнѣ.

— Что вы дѣлаете?!—сказала она мнѣ по-французски,—вѣдь онъ зараженный! Возлѣ него очень-очень опасно быть!

— Окончила!—сказала я больному.

Онъ моментально бросился ги поцѣловалъ мнѣ руку. Я отшатнулась было, но было уже поздно.

Когда я пріѣхала домой и тщательно мыла руки передъ кормлениемъ ребенка, я думала: «Нѣтъ, отказать ему въ этомъ было бы невозможно, негуманно, даже если бы и можно было предвидѣть, да и опасность въ сущности не реальная, а результатъ мгновенности».